

В

есна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После серых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь наматы сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показали нам чем-то

неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную неведомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешенье снега, двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек, белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижей тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергивали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялся. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на Западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предельных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелонем перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому что это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал и мы, раненые, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточно-пруссских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже зем-

ля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже мало-мальского городишки. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жаждой победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотишь чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, непрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпаных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из сонового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его костреч, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палатке расползался незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придеживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты.

Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском ручной мойки, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормозить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще целы и невредимы, но падают вечером или ночью, завтра или через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для разжижки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не общались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую заместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на неизвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги и было щемяще-радостно узнавание родной стороны по бабым и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовались тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топчут ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валийся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будет колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закричав, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температуру, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегалась плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупковских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих попахивало *собственным* трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допус-

кал понимания, что тоже могу превратиться в нечто непостижимое, доступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлбно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а быть может, в это самое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непроизвольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом». Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в обозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Да какие медали... — слабым сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал.

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Да и стрелял... А то как же... В окруженьє однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Да и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова.

— Небось перепугался?

— Да и страшно... А то как же...

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда... Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбрить которую мешали бинты.

Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях. — Дак где же ее взять. Нежели посылку из дому затребовать? У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утешает, клюквя-то.

Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов. Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, надписанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкроить из этих хромоно-

гих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползть по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Флаешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милый, помогу. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясась широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко? — спрашивает, — переводил я шепот Копешкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виднелось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, синему, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья славяне! — с горькой улыбкой воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-пешки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливых — Саенко и Бугаев, — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветреной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодновании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику.

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка! — Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы.

Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было насторожено — и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай,

разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно-тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальница госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: был он строг и даже суров, но считался хорошим хирургом, и в тяжелых операциях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всякие поблажки: лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общезитие к ткачихам, а потому не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду, сказал он ему, одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнили.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та ж я, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило... — Шаги и голоса отдалились.

— Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три

часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время...

Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как об сук, потерся глазом о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаев запрыгал к Сашкиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы, — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — потрянул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колтушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, трясая, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксирсы на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. — Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Подними-

те подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таня подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он был не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопок ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье — повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— А-яй-яй... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталу, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, слышался девичий возглас «держите!», и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми руками.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая. — Ох да страдальцы горемычные-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятны-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечны-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острое, пронизывал хор:

Идет война народна-йа-ая-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное прощество.

И уже совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка, —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка.
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолчал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружеские всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящеватом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Миахе сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — чину? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, прищиплил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо... — покраснел Михай. — Чужих не надо...

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря, нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть, прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому недвижимому солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может, он желает?

— Ничего он не жалуется... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь... Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава Богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов. Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охалками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие. — Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох ты господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какую долю вытерпели, какого сапустата одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товаришчи, — поздравил он усталым, по-детски тонким голоском. — Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядись.

— Есть, распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За победу.

— Ни, хлопци. Нема время. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запальвси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывая в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто необывало-торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли... — предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой. — Бугаев взял Михаев стакан. — Давай присядь, а то не дотянись.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаев, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень, — удовлетворенно сказал он. — Это дело. Ничего, наловчишься... — Бугаев вытер пижамным рукавом Михая подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до доньшка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай тряхнул узлами рукавов. — Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это... — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца всплесни, — посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговееся.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Кра-сота!

— По дороге потеряешь, — усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый. — Нашими друзьями будете. Такую свадьбу сварганим. Эх и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат, — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — негу жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — покачала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон. — Ну съешьте еще ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубаше, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить.

Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с ними. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских холов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле, — думал я, слушая разговоры. — Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычным с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались по русской земле...»

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот, молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл... Где-то там в неведомом краю стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина является она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картину в руки Копешкина. Тот почувствовал прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину.

Копешкин, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Шашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за пеглявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхая между песнями, и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копешкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголодавшие участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили все это на носилки, накрыли простыней и унесли. Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это уже будет не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки понесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры тайнства, и он наконец родился... Но его срезали осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов, — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие... — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарями картинку с Копешкиной избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином. — Вот и пожар загушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном море, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст Бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется, — сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван, — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. — Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.